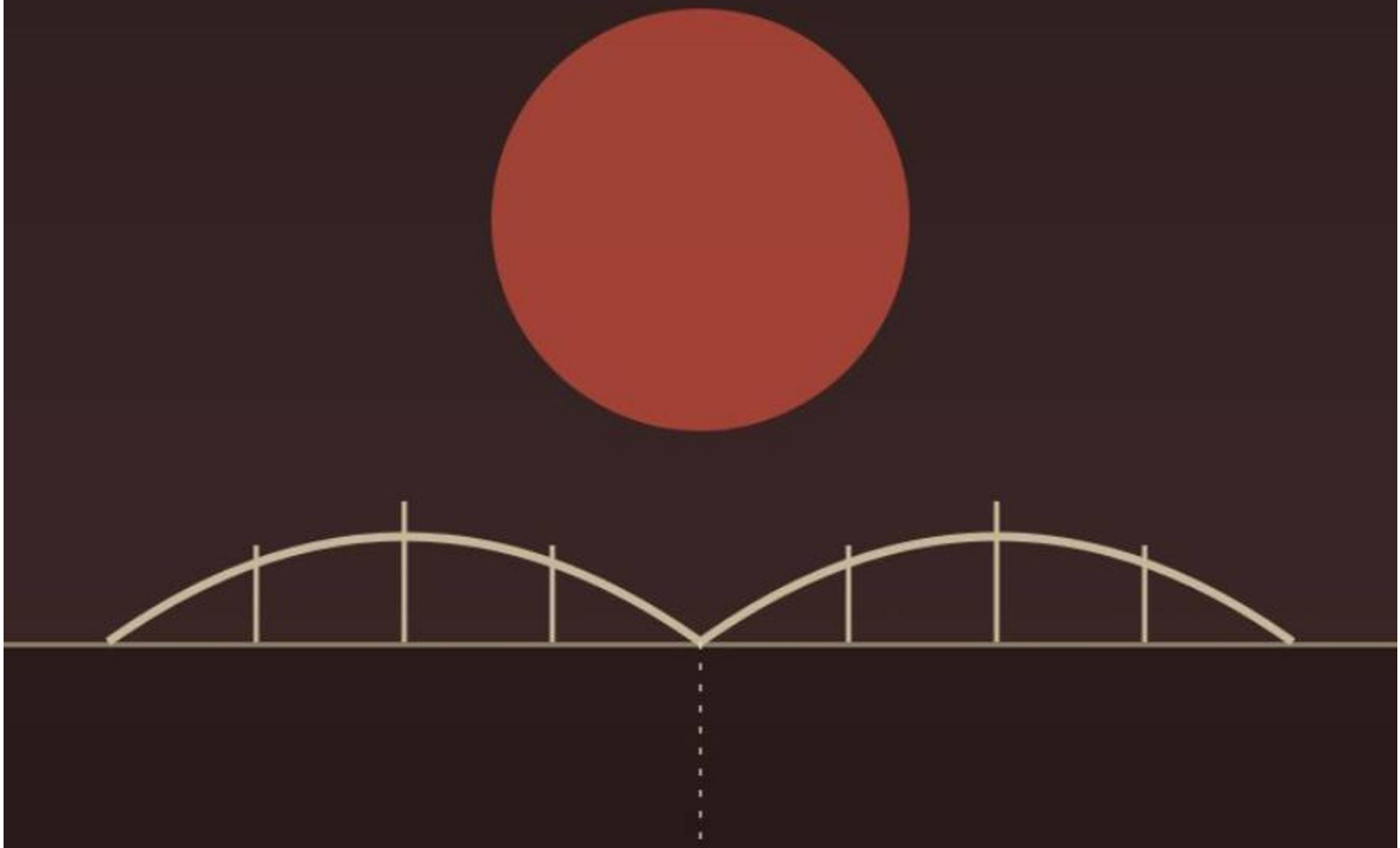
КОНСТАНТИН ПОГУДИН



НЕЛЕГАЛ

роман

МОСКВА · 1956–1968

Константин Погудин

Нелегал

«Автор»
2026

Погудин К.

Нелегал / К. Погудин — «Автор», 2026

1956 год. Подполковник внешней разведки КГБ Виктор Лавров слушает закрытый доклад на XX съезде и в тот же день получает приказ подготовить к отъезду нелегала. Его работа — не погони и не перестрелки, а проверка: надёжен ли человек, которого посылают за границу, и можно ли доверять тому, что присылает источник, чья подлинность не поддаётся проверке.Дело Хейханена, арест полковника Абеля в нью-йоркской гостинице, процесс, самолёт Пауэрса над Свердловском, обмен на мосту в Берлине, перебежчики, кроты и поиски кротов, побег Блейка, август шестьдесят восьмого. Каждое из этих событий проходит через кабинет Лаврова как бумага, как решение или как человек, и за каждым стоит цена, которую платят семья, друзья и он сам.Сдержанный роман о том, как устроена разведка изнутри: докладные, отчёты, сомнения, ночные вызовы и недоверие, которое одновременно служит профессиональным инструментом и разъедает того, кто им пользуется.

© Погудин К., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Закрытое письмо 6
Глава 2. Одиннадцать месяцев 12
Глава 3. Рейс «Орджоникидзе» 19
Глава 4. Вик 25
Глава 5. Париж 32
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Константин Погудин
Нелегал

Москва – Вашингтон – Вена

1956–1968

Глава 1. Закрытое письмо

Москва, февраль – март 1956

Подполковник Лавров любил понедельники за то, что в понедельник на Лубянке никто ничего не решал. Утром приезжали с дач и из отпусков, в буфете пахло чаем и мокрой одеждой, в коридорах шептались про футбол. К полудню накатывала почта. Решения начинались во вторник.

Тринадцатого февраля он поднялся на четвёртый этаж с папкой под мышкой, предъявил дежурному пропуск, хотя дежурный знал его девять лет, и прошёл по ковровой дорожке к кабинету полковника Гордеева. Ковёр был красный, с зелёной каймой, и на нём остались следы чьих-то калош: кто-то пришёл раньше него и не вытер ноги.

Гордеев сидел за столом, подперев голову кулаком, и читал. Бумага была в голубой обложке, без грифа на титуле, и он закрыл её ладонью, когда Лавров вошёл. Потом, видимо, сообразил, что закрывать поздно, и убрал руку.

— Садитесь, Виктор Сергеевич. Чаю?

— Спасибо, нет.

— Тогда без чая. — Гордеев откинулся. Он был крупный, лысеющий, с тяжёлыми веками, и от него всегда слегка пахло папиросным табаком и одеколоном «Шипр». — Что у вас по Платову?

Лавров открыл папку. Платов был не фамилией, а рабочим именем: так в отделе называли молодого человека двадцати семи лет, которого Лавров вёл с весны пятьдесят третьего. Настоящее имя знали шесть человек в здании и ни один из них не произносил его вслух. Он выучил английский до такого состояния, что носители начинали с ним спорить об оттенках слов. Он научился водить машину, чинить радиоприёмник, играть в бейсбол, которого никогда не видел, и не вздрагивать, когда его называют чужой фамилией. Недавно к этим навыкам добавилось умение обедать в одиночестве, не оглядываясь.

— Языковая подготовка завершена, — сказал Лавров. — Легенда отработана в пределах, которые мы можем проверить здесь. Остаётся документальная часть.

— Что с документальной частью?

— Есть кладбище в Онтарио. Мальчик, родившийся в тридцать четвёртом, умерший в тридцать седьмом. Метрику мы получили. Но на следующем этапе нужен человек, который сделает по ней паспорт, не задавая вопросов, и для этого придётся ехать не в Канаду, а в другое место, и не нам.

— Это мы решим. — Гордеев помолчал. — Кстати, о поездках. Вы в апреле будете нужны в Берлине.

— Надолго?

— Недели на две. Дело не ваше, дело вашего ведомства только по касательной. Я сам не знаю подробностей. — Он взглянул на Лаврова чуть дольше, чем требовала фраза. — Знаю только, что просили человека, который умеет считать, что мы выдаём противнику, пока ничего не выдаём.

Лавров не понял, но кивнул. За девять лет во внешней разведке он привык принимать такие формулировки как данность, примерно так, как принимают погоду.

— Готовьте бумаги, — сказал Гордеев. — И ещё. Вы читали сегодняшнее?

— Что именно?

— Ничего. — Гордеев перевернул голубую бумагу лицевой стороной вниз. — Идите.

В коридоре его догнал Орлов. Майор Орлов сидел в соседней комнате, занимался Скандинавией и считался в отделе человеком лёгким: он любил анекдоты, умел достать билеты на

«Динамо» и никогда не брал чужих дел. Сейчас он держал руку в кармане брюк и говорил вполголоса, не поворачивая головы.

— Слышал? Англичане наши в субботу выступили.

— Какие англичане?

— Те, что уехали пять лет назад. Бёрджес и этот, второй, Маклин. Устроили пресс-конференцию в Москве. Два корреспондента, «Санди таймс» и «Рейтер». Зачитали бумажку, что они не шпионы и приехали ради лучшего взаимопонимания между Востоком и Западом.

— Кто писал бумажку?

— Они сами, наверное. — Орлов усмехнулся. — По-английски, во всяком случае, там было гладко. Но на двенадцатой строчке уже слышно, как кто-то диктует.

— И что дальше?

— Дальше ничего. Лондон бесится. Говорят, в палате общин вопросы. — Он понизил голос ещё. — А у нас, говорят, там дальше большое мероприятие. Съезд идёт, ты в курсе. Всё накануне чего-то.

— Накануне чего?

Орлов пожал плечами и пошёл дальше, насвистывая «Подмосковные вечера», которые тогда насвистывали все.

В последнюю субботу февраля Лавров поехал в Малаховку. Дача была казённая, на отшибе, за глухим забором, и в этот день там не было никого, кроме сторожа с овчаркой и Платова. Платов жил в доме с октября. Он ходил по комнатам в чужих ботинках, чужой куртке и чужом английском, и Лавров, входя, каждый раз ловил себя на том, что здоровается с ним на языке, который тот должен был забыть как родной.

— Good morning, sir, — сказал Платов, не вставая из-за стола.

— Здесь можно по-русски.

— Здесь нельзя. Вы сами учили: если по-русски хотя бы раз в неделю, это привычка, а привычку тело не забывает.

Лавров сел напротив. На столе лежали газеты: «Нью-Йорк таймс» за позавчера, «Монреаль стар», «Дейли миррор» и какая-то брошюра о ремонте автомобилей. Платов читал медленно, шевеля губами, как читает человек, который хочет, чтобы это выглядело естественно, и от этого получалось неестественно. Лавров заметил это и промолчал: поправлять было рано.

— Скажите, — произнёс Платов по-английски, — что вы там пишете в своём блокноте?

— Где?

— Вы каждый раз пишете что-то, пока я читаю. Вот сейчас рука дёрнулась.

— Это не вам.

— Я так и подумал. — Он отложил брошюру. Он был худой, светловолосый, с высоким лбом и очень внимательными серыми глазами, которые Лавров заранее отметил как опасные: люди с такими глазами слишком много замечают. — Тогда я тоже спрошу не вам. Если меня забудут, что тогда?

— Вас не забудут.

— В сорок девятом забыли одного. Вы знаете, о ком я. Он ждал связи три года.

Лавров знал. Ему рассказывал об этом человеке сам Гордеев: резидент в Лондоне, нелегал, три года без сигнала, потому что связного арестовали, а новая схема не сработала, а потом сменилось руководство. Через три года тот человек вышел на связь по запасному каналу, получил приказ вернуться и вернулся. Больше о нём не говорили.

— Забыли не вы, — сказал Лавров. — Забыла система. Это разные вещи.

— Для меня одинаково.

— Для вас нет. Вы будете работать и тогда, когда нас нет. Вы же знаете, как это делается. Вы выбираете себе сигнал, место и срок и ждёте. Если ничего не приходит, вы продолжаете

жить так, как будто ничего не изменилось. Через год вы просто живёте. Через пять вы и не ждёте. Но это не провал. Это работа.

— Это очень удобная формула.

— Для кого?

— Для тех, кто посылает.

Лавров не сразу ответил. Платов сказал это вежливо, без вызова, так, как говорят о погоде, и от этого фраза прозвучала весомее. Он подумал, что именно такие слова хочется слышать от человека, которого посылаешь, потому что они значат, что он ещё не стал функцией. И что именно такие слова потом приходится вспоминать.

— Мы вернём вас, — сказал он. — Через пять лет, максимум через семь. Я обещаю.

— Вы не имеете права обещать.

— Не имею.

— Тогда зачем?

— Потому что не пообещать хуже. — Лавров помедлил. — Андрей. Я здесь для того, чтобы вы поехали и вернулись. Это моя работа. Но я не решаю, когда. Я могу только быть тем, кто напоминает.

Платов кивнул. В этом кивке не было согласия, а было то, что бывает у людей, получивших ответ, который не стоило запрашивать. Он взял газету и снова стал читать, и теперь шевелил губами меньше.

Они проработали до вечера. Лавров задавал вопросы: сколько стоит билет на поезд из Торонто до Монреаля, где на углу Куин-стрит продаются сигареты «Крэвен», как называется школа, в которую ходил мальчик, чьё имя Платов должен был носить. Тот отвечал быстро, иногда с ошибками, иногда без. К вечеру ошибок стало меньше.

В шесть сторож зажёг свет в сенях и позвал ужинать. На ужин была картошка с селёдкой и чай в гранёных стаканах. Платов ел, держа вилку в левой руке, как научился. Лавров наблюдал и думал, что человека этого он знает три года и ничего не знает о нём. Знает вес, рост, группу крови, как он спит и как не спит. Не знает, о чём он думает, глядя в окно, когда стемнело и в стекле остаётся только отражение комнаты.

На обратном пути, в электричке, он открыл блокнот и перечитал то, что записал днём. «Забыли одного». «Для тех, кто посылает». И, ниже, своей рукой: «Спросить Гордеева про Лондон-49. Не спрашивать».

Он вырвал страницу, сложил, положил в портфель, чтобы сжечь дома в печи. На соседней скамье уснул мужчина в телогрейке с авоськой на коленях, и в авоське лежал круглый хлеб и две бутылки молока. Электричка шла в темноте, и на каждом перегоне в окно било светом из пристанционных будок.

О докладе Лавров узнал не из газет. Газеты о съезде писали обычно: отчётный доклад, выступления делегатов, овации, перечень мер по подъёму сельского хозяйства. Ничего необычного не печатали ни двадцать пятого, ни двадцать шестого. Необычное передавали из уст в уста, как всё важное в этой стране, начиная с рассказов о ночных арестах и кончая рассказами о ночных освобождениях.

Рассказывали, что в ночь на двадцать пятое, когда съезд уже, казалось, закончился, делегатов собрали на закрытое заседание, без гостей из братских партий и без стенографисток. Что Хрущёв говорил четыре часа. Что в зале не было слышно шороха. Что люди выходили в коридор белыми и закуривали, не доходя до курилок.

Рассказывали потом, что кто-то из делегатов упал в обморок, а кто-то, наоборот, пошёл напиться. Лавров не верил ни тому, ни другому, но слушал.

Текст читали в марте. Не по радио и не в газете, а на собраниях партийных организаций, по закрытому списку, при закрытых дверях, по бумажке, которую зачитывал секретарь. Партийное собрание на Лубянке назначили на вторник, на семь вечера, в клубе. Зал был большой,

с деревянными сиденьями и портретом Дзержинского над сценой. Дзержинский смотрел вбок, как будто ему было неловко находиться в одном помещении с докладчиком.

Лавров сел на третий ряд сбоку. Рядом сел Орлов. Дальше, через проход, сидел Гордеев, неподвижный, как мешок с песком. Люди рассаживались молча. В зале было человек четыреста, и ни один не кашлянул, пока секретарь партбюро выходил на сцену, раскладывал листы и откашливался сам.

— Товарищи, — сказал он. — Читаем доклад Первого секретаря ЦК товарища Хрущёва Никиты Сергеевича «О культе личности и его последствиях». Прошу соблюдать порядок и вопросов во время чтения не задавать.

Читал он плохо. Голос у него был ровный, ломкий, в нём слышалось усилие человека, который произносит слова на чужом языке. Но слова были понятные.

Лавров слышал и раньше про многое из того, что звучало теперь. Слышал в сорок седьмом, в сорок девятом, в пятьдесят втором. Слышал шёпотом, от людей, которым нельзя было верить, и от людей, которым нельзя было не верить. Но одно дело — слышать, другое — сидеть среди четырёхсот сослуживцев, из которых каждый знал то же самое и каждый молчал, и слышать, как секретарь партбюро зачитывает это с трибуны, как квартальную сводку.

Секретарь читал про дела тридцать седьмого года. Про «признания», выбитые физическим принуждением. Про расстрелянных членов ЦК. Про то, как в «Правде» писали «враги народа», а на самом деле их не было. Про то, как следователь, получив приказ, выполнял его, не размышляя, потому что размышлять было опасно. Читал и про то, что часть этих следователей сидит в зале.

Лавров не смотрел по сторонам. Он видел только затылок Орлова: стриженый, красный, с мелкой складкой у воротника. Орлов не шевелился. Через полчаса Лавров понял, что Орлов не дышит, а потом услышал, что дышит, но очень тихо.

Один раз кто-то в задних рядах всхлипнул. Звук был короткий, почти неприличный. Никто не обернулся.

Когда секретарь дочитал, наступила тишина, которая показалась Лаврову самой долгой в его жизни. Потом из первых рядов поднялся пожилой человек в штатском костюме, генерал в отставке, которого Лавров видел только в клубе. Он встал, оперся на спинку стула и сказал:

— Я прошу занести в протокол. Я работал в органах с двадцатого года. Я подписывал бумаги, которые мне приносили. Мне говорили, что это нужно. Я прошу занести в протокол, что я хотел бы знать, что с этими бумагами теперь делать.

Он сел. Председатель собрания перелистнул протокол, посмотрел в него, будто там был ответ, и сказал:

— Занесём.

На этом собрание закончилось. Никто не аплодировал. Люди вставали, надевали шинели, шли к выходу и расходились в стороны так, чтобы не ехать вместе. Лавров спустился по лестнице, вышел на площадь Дзержинского и постоял на ветру. Из метро на углу выходили люди с портфелями, и ни у одного не было лица человека, который только что услышал о конце света. Они были заняты. Они торопились домой.

Орлов вышел следом и закурил. Руки у него дрожали, и он не пытался это скрыть.

— Слушай, — сказал он, — ты понимаешь, что нам теперь делать?

— Работать.

— Да. — Орлов затянулся. — Только вот с кем? Я о том, что в соседнем отделе сидит один майор, который в тридцать восьмом ещё лейтенантом вёл такие дела. Он вчера пришёл на работу, как обычно, повесил шинель, сел за стол. Я смотрел на него сегодня весь вечер. Думал: что у него в голове?

— У него то же, что у тебя.

— У меня нет того, что у него.

Лавров не ответил. Он думал о том, что Орлову в тридцать восьмом было восемнадцать, что он работал на заводе и что говорить так ему легко. Сам Лавров в тридцать восьмом был двадцатипятилетним инспектором Наркомата путей сообщения, и о том, что делали в этом здании в то время, он знал ровно столько, сколько знает человек, чей тесть арестован.

Бумага пришла к ним домой в среду, на следующий день после собрания, как будто нарочно. Лидия Петровна достала её из почтового ящика сама, когда вернулась из школы. Она преподавала литературу в седьмых и восьмых классах и носила в сумке тетради, поэтому конверт поначалу лежал под ними, и она не заметила его до вечера.

Лавров застал её на кухне. Лидия сидела у стола в пальто, не снимая шапки. Перед ней лежал листок из тонкой серой бумаги с угловым штампом и двумя печатями. Наташа делала уроки в комнате, было слышно, как она напевает, не открывая рта: она всегда так делала, когда решала задачи.

— Что это? — спросил он.

— Прочти.

Он взял листок. Текст был напечатан на машинке, с неровным левым краем. Военная коллегия Верховного суда Союза ССР сообщала, что дело по обвинению Ермакова Петра Андреевича, тысяча восемьсот девяносто четвёртого года рождения, пересмотрено, приговор от одиннадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года отменён за отсутствием состава преступления, Ермаков П. А. реабилитирован посмертно. Ниже, отдельной графой, стояло: «Умер 14 марта 1943 года. Причина смерти: воспаление лёгких».

Лавров прочёл вторую графу два раза.

— Он умер в сорок третьем, — сказала Лидия. Голос у неё был ровный, как у человека, который читает вслух непривычный текст. — В лагере. В Караганде, наверное. Тут не написано, но, наверное, в Караганде. В марте.

— Лида.

— Я всё эти годы думала, что он жив. — Она сняла шапку, положила на стол, провела ладонью по волосам. — Мне казалось, что если бы он умер, мне бы сказали. Мама до сорок девятого года носила передачи. Ты помнишь? Они говорили, что передачу не принимают, но не говорили почему. Она думала, что он в лагере, где нельзя. А он умер в сорок третьем.

— Лида, — повторил он.

— Что?

Он не знал. Он стоял с листком в руке и понимал, что должен сказать нечто, и что ничего из того, что он мог бы сказать, не сможет быть сказано.

В Первом главке был порядок: об уголовных делах других управлений там не говорили, но шёпотом знали многое. Знали, например, что формула «десять лет без права переписки», которую получали родственники арестованных в тридцать седьмом и тридцать восьмом, означала не десять лет и не лагерь. Знали, что приговор от одиннадцатого сентября, если он вынесен Военной коллегией, исполнялся в тот же день или на следующий. Знали, что справки, которые сейчас рассылали по адресам, составлялись по образцу, а образец был утверждён где-то наверху: дата смерти подбирается из первых лет войны, причина — из набора безобидных, «воспаление лёгких», «сердечная недостаточность», «болезнь печени».

В анкете сорок первого года, когда его брали во внешнюю разведку, в графе о родственниках жены он написал: «тесть умер в 1938 г.». Лучшего он написать не мог, и все, кто читал анкету, поняли, что это значит, и ничего не спросили.

О том, что значила формула на деле, он знал давно, а наверняка года два. Знал и тогда, когда Лидия по вечерам говорила: может, он вернётся, ведь начали возвращаться другие. Знал и тогда, когда на кухне стоял пустой стул, который она ставила по привычке на место отца в день его рождения. Говорить ей он не мог. За двадцать лет брака о чём-то одном он ей не говорил.

— Они пишут, что в сорок третьем, — сказал он наконец.

— Да.

— Значит, так.

Лидия посмотрела на него долго. Потом спросила, не повышая голоса:

— Витя, ты знаешь, что это неправда?

Он не пошевелился. На плите закипел чайник, и крышка начала мелко дребезжать. Из комнаты доносилось пение Наташи, она дошла до припева.

— Я знаю то, что написано, — сказал он.

— Хорошо.

Лидия кивнула. Она не заплакала и не отвернулась. Она сидела и смотрела на мужа, как смотрят на документ, в котором есть ошибка, но исправить её негде. Потом встала, выключила газ, налила чай в две чашки и поставила одну перед ним.

— Хорошо, — сказала она. — Мы будем считать, что в сорок третьем.

Они пили чай. Наташа вышла из комнаты, спросила, что на ужин, и ушла обратно. Лавров заметил, что чашка у него в руке стоит неровно, и поставил её на блюдце обеими руками.

Позже, когда жена и дочь легли, он сидел один за столом под лампой и смотрел на справку. Серая бумага, два штампа. Печать «Верховный суд СССР», подпись секретаря, у которого, наверное, не было ни фамилии, ни лица. Подпись стояла криво, как будто человек торопился.

На кухне было тихо. С улицы доносился скрип трамвая на повороте. Он взял карандаш и на обороте справки, в углу, где никто не прочёл бы, написал одну цифру: 1938. Потом зачеркнул.

Утром ему предстояло ехать в здание на Лубянке, подниматься на четвёртый этаж, предъявлять пропуск человеку, который знал его девять лет, и работать над документами для молодого человека, которому нужно было выдумать мёртвого мальчика из Онтарио. Он умел это делать. В этом и состоял весь его талант: он умел брать чужую смерть, придавать ей аккуратную форму и пускать в обращение.

Глава 2. Одиннадцать месяцев

Берлин, апрель 1956

В Берлин Лавров ехал поездом. Самолётом быстрее, но у Гордеева была привычка, которую тот называл гигиеной: человек, которого отправляют считать чужие ошибки, должен хотя бы раз проехать по местам, где они совершаются, и посмотреть на землю, а не на облака. Поезд шёл двое суток. За Брестом в вагон вошли польские пограничники, за Познанью начались аккуратные немецкие станции с цветочными ящиками на подоконниках, а после Франкфурта-на-Одере в окнах поплыли поля, где ещё лежал неубранный прошлогодний лён.

На Остбанхофе его встретил человек в штатском плаще, с фибровым чемоданчиком, чем-то неуловимо похожий на бухгалтера. Лавров запомнил его сразу и надолго: у бухгалтеров, как правило, не бывает такой привычки оглядываться, не поворачивая головы.

— Тимофеев, — сказал тот. — Подполковник. Представительство в Карлсхорсте. Вам заказана комната. Завтра в девять вас ждут.

— Кто ждёт?

— Я.

Машина была «победа», с продавленным задним сиденьем и следами многих поездок. Они ехали через восточную часть города, и Лавров смотрел в окно. Одиннадцать лет прошло с мая сорок пятого. Некоторые улицы расчистили до гладкости, как зубной ряд, и между ними стояли пустыри с кирпичной крошкой, на которых росли берёзки. Пахло сырым углём. На углах сидели женщины в платках и торговали пучками петрушки.

В Карлсхорсте было тихо, как бывает только там, где сконцентрировано много казённого. Двухэтажные виллы за заборами, аккуратные дорожки, часовые у ворот, велосипедисты с портфелями. В здании, где разместили Лаврова, комната оказалась маленькой, с железной кроватью, умывальником и окном во двор. На подоконнике кто-то оставил блюдце с окурками, и Лавров, прежде чем лечь, сам вынес его в коридор.

Рабочий день у Тимофеева начинался в семь и заканчивался когда придётся. Кабинет его помещался в полуподвале. Там стоял сейф, стол с двумя телефонами, топчан, накрытый серым одеялом, и карта Берлина, приколотая кнопками. На карте красным карандашом была проведена линия, которая шла от Рудова на юге американского сектора через границу к Альт-глинике, и обрывалась у шоссе.

— Вот, — сказал Тимофеев. — Туннель. Четыреста с лишним метров. Они копали около восьми месяцев. Потом одиннадцать месяцев слушали, и мы смотрели, как они слушают.

— Слушают что?

— Кабели. Здесь. — Он провёл по карте пальцем. — Линии от штаба группы войск в Цоссене и Вюнсдорфе до Карлсхорста и обратно. Телефон, телетайп, часть шифром, часть открытым текстом. Открытый текст, понятно, по закрытым линиям. Это у нас так принято: если линия закрытая, о чём угодно можно говорить.

Лавров ждал, что тот скажет дальше. Тимофеев не сказал. Он сел, налил себе из графина воды, выпил, поставил стакан на карту и оставил там мокрый круг.

— Вам объяснили, — произнёс он наконец, — чего хотят?

— Мне сказали, что нужен человек, который умеет считать, что мы выдаём, пока ничего не выдаём.

— Это правильная формулировка. — Тимофеев достал из сейфа тонкую папку, положил перед Лавровым и сел обратно. — Тоннель мы вскроем двадцать первого. Дата выбрана, не вам о ней думать. После вскрытия там уже нечего будет слушать, и англо-американцы получат то, что получили. А нам нужно знать, что именно. И какие из наших людей и каналов следует менять.

— Менять сразу?

— Лучше сразу. — Тимофеев чуть поморщился. — Лучше было бы вчера.

Лавров не спросил, почему «вчера». Он знал ответ из объяснений, полученных в Москве. Ответ состоял из одного слова, и слово это произносили шёпотом даже в здании, где обыкновенно не шептались. Человек, пришедший к ним через корейский плен, а потом ставший сотрудником британской службы и переведённый в Берлин, сообщил о тоннеле ещё на стадии замысла, до того как в землю вонзилась первая лопата. С тех пор им нельзя было ничего менять. Ни линии, ни расписания, ни привычек людей, сидевших у этих телефонов. Одно резкое движение, и англичане заметили бы, что русские ведут себя так, будто знают. Источник, которого берегли, не выдержал бы проверки.

Берегли его около двух лет. Лавров, взглянув на цифру в папке, подумал о том, что за ней стоит: пока источник был в безопасности, где-то в Цоссене и Вюнсдорфе офицеры звонили домой, спрашивали про квартиры, диктовали списки, жаловались на начальство, а в Лондоне или Вашингтоне кто-то ночами надевал наушники.

— Я хотел бы сначала увидеть журналы, — сказал он.

— Какие?

— Журналы учёта связи. Не содержание, содержание вы не вели. Номера линий, часы, длительность, имена вызывающих и принимающих. Мне нужно понять, кто и о чём мог говорить, исходя из должности и расписания.

— Это возможно.

— И мне нужно поговорить с людьми, которые у телефонов. Без объяснений.

Тимофеев помолчал.

— Под видом чего?

— Планового обследования режима связи. Таких проверок у вас, должно быть, много.

— Больше, чем нужно.

— Значит, ещё одна не вызовет вопросов.

Три недели он работал в комнате без окна на втором этаже, за столом, на который каждое утро ставили чистую пепельницу и стакан чая. Журналы приносили по два-три тома, тяжёлые, в картонных обложках, с рукописными записями. В них не было ничего интересного. Вызов с одиннадцати двадцати до одиннадцати двадцати восьми. Вызов с четырнадцати ноль-ноль до четырнадцати ноль двух. Номер, номер, фамилия, фамилия. Люди звонили друг другу по линиям, которые считались закрытыми, и жизнь, которая протекала сквозь эти линии, была скучной, как всякая настоящая жизнь: расписание нарядов, ремонт котельной, поставки угля, отпуск, жена приезжает.

На десятый день он начал замечать закономерности. Некто с позывным из Вюнсдорфа звонил в Карлсхорст по средам, вечером, и разговаривал с одним и тем же абонентом. Через неделю он увидел, что в эти разговоры вплетаются новые номера. Ещё через два дня составил из них схему и понял, что перед ним не случайные звонки, а канал.

Он поднялся к Тимофееву.

— Вы знаете, кто такие эти двое?

Тимофеев взглянул на листок.

— Один из них начальник узла связи в Вюнсдорфе. Второй у нас, в представительстве. Они обсуждают график смены шифровальных ключей на запасной линии.

— На запасной.

— Да.

— По телефону.

— По закрытому телефону. — Тимофеев сказал это так, словно повторял собственные оправдания. — Они считали, что это не секрет. Что секрет только сами ключи.

— А график?

— График позволяет, если знать общий принцип, предсказать, когда ключи сменятся. Вы понимаете, что это значит.

— Понимаю.

— Тогда пишите.

Лавров написал. Первая записка в этой серии заняла полторы страницы. Вторая — три. К двадцатому апреля набралось одиннадцать страниц, и в них было всё: график, перечень должностей, список тем, которые обсуждались неосторожно, а главное, список мест, где утечка могла вылиться в нечто большее, чем подмена ключей.

Таких мест он нашёл два. Одно касалось дислокации частей в районе Магдебурга. Второе вывело его из Берлина в Вену.

С майором Ковалёвым он говорил в пятницу, девятнадцатого. Тот командовал вторым дежурным отделением узла связи в Вюнсдорфе, был худой, с залысинами, с аккуратными усиками, в которых Лавров, привыкший к московским привычкам, угадал любовь к порядку. Беседа шла в маленькой комнате дежурной части. Пахло машинным маслом и ржаными сухарями.

— Проверка режима, — сказал Ковалёв. — Знаю. Вчера было то же самое, только из другого отдела.

— Значит, вы подготовлены.

— Всегда подготовлен. — Он чуть улыбнулся. — Что вас интересует?

— Как часто люди пользуются линиями для служебных разговоров, а как часто для личных.

— Личные запрещены.

— Запрещены.

Ковалёв посмотрел на него и ничего не ответил, и Лавров понял, что молчание тоже было ответом. Все пользовались, и майор знал, что все пользуются, и вряд ли считал это серьёзным нарушением. Линии были надёжные. Закрытые. Охраняемые. Никому не пришло бы в голову, что они лежат под землёй в двух метрах от чужой лопаты.

— У вас семья здесь? — спросил Лавров.

— Жена и дочь. Живём в Вюнсдорфе, в городке.

— Звоните им со службы?

Ковалёв пожал плечами.

— Раз-два в неделю, если задерживаюсь. Они беспокоятся.

— Что говорите?

— Что задерживаюсь. — Он помолчал. — Что у меня всё хорошо.

Лавров записал: «Звонит жене. Говорит, что всё хорошо». Он смотрел на записанные слова и думал, что в Лондоне или в Вашингтоне, или в каком-нибудь немецком подвале, куда ссыпали эти кассеты, какой-то стенографист уже перепечатал ту же фразу, и она лежит в папке, пронумерованная, с датой.

Он поблагодарил майора, вышел на плац и постоял, глядя, как у ворот меняется караул. Двое солдат в длинных шинелях шли друг за другом ровным, давно отработанным шагом. Один чуть отстал, пока другой не оглянулся.

Вечером двадцатого Тимофеев пригласил его на ужин. Комнату для ужинов в представительстве держали для гостей из Москвы: стол, накрытый белой скатертью, графин с водкой, банка солёных огурцов, нарезанная колбаса. Тимофеев налил по рюмке. Они выпили, не чокаясь.

— Что у вас? — спросил он.

— Одиннадцать страниц и два вывода.

— Давайте сначала выводы.

— Первый: нужно менять график ключей на запасной линии. Немедленно, в день вскрытия. Второй: нужно предупредить Вену.

— Какую Вену?

— Нашего человека. Он держит связь через Берлин. Двое из его запасных каналов упоминались на этих линиях. Не по имени, по должностям. Но по должностям, в сочетании с датами, любой, кто потратит неделю, найдёт его.

— Нельзя.

— Что нельзя?

— Предупреждать нельзя. — Тимофеев произнёс это ровно, не поднимая глаз. — Если мы вскроем тоннель двадцать первого, а двадцать второго начнём перетряхивать каналы в Вене, они свяжут одно с другим. И через три месяца в Лондоне будут точно знать, что мы знали заранее. Откуда.

— Тогда нужно двигать дату.

— Дату нельзя. Дату согласовали. Двадцать второго англичане принимают наших руководителей в Виндзоре.

Лавров поставил рюмку.

— Мы вскрываем тоннель, когда Хрущёв в Лондоне?

— Именно поэтому. — В голосе Тимофеева послышалось что-то похожее на усталость. — Это не мой выбор. Но если сделать это сейчас, они не смогут устроить из него скандал. Лондон не станет портить визит. Вашингтон не станет разбираться, что известно англичанам. Всё сойдёт за технический инцидент, а потом и вовсе забудется.

— А Вена?

— Вена подождёт.

— Сколько?

— Год. Может, два. Пока источник не будет в безопасности. Тогда сменим.

— Источник не будет в безопасности. — Лавров не повысил голос, но заметил, что Тимофеев поднял взгляд. — Он в Берлине. Он каждый день сидит в здании, где кто-нибудь однажды задаст вопрос. Рано или поздно задаст. Вы это знаете лучше меня.

— Знаю.

— Тогда эти два года...

— Виктор Сергеевич. — Тимофеев осторожно поставил рюмку на скатерть. — Давайте без. Вы, я вижу, человек не бесчувственный, и это хорошо. Но в нашей работе чувствовать можно за стенами. Вы здесь для другого. Вы сосчитали. Вы выяснили, что есть риск. Вы сообщили. Дальше решает не вы и не я.

— А кто?

— Центр.

— Центр на моей записке написал «принять к сведению».

— Это ответ.

Лавров смотрел на огурцы. Они лежали на блюде ровным рядом, глянцевые, с каплями рассола, и в этом было что-то нелепое: двое мужчин за белой скатертью, под портретом Дзержинского, говорят о жизни человека, которого один из них едва знает, а другой не знает совсем, и закусывают огурцом.

— Хорошо, — сказал он.

— Вот и славно.

— Я хотел бы только, чтобы это было записано.

— Что именно?

— Что я предлагал предупредить.

Тимофеев чуть улыбнулся.

— Запишем.

В ту ночь он долго не мог заснуть и достал из чемодана папку, которую привёз из Москвы и не открывал с самого вагона. Папка была тонкая. На обложке стояла только литера и номер.

Рудин жил в Вене третий год. Его документы принадлежали австрийцу, родившемуся в Линце в девятнадцатом году и уехавшему в Аргентину перед аншлюсом: человеку настоящему, давно умершему в Буэнос-Айресе, о смерти которого никто в Австрии не знал. Настоящий Франц Хольцер оставил после себя метрику, рекомендательное письмо от католического священника и записную книжку с адресами. Рудин вернулся в Австрию в пятидесятом, как возвращались тогда тысячи, с чемоданом и аргентинским акцентом, который ему поставили в Москве за четыре месяца, и открыл в седьмом районе лавку радиоприёмников. Лавка шла плохо. Это было хорошо: в ней никто не искал человека, у которого есть деньги.

Жена у него была тоже здешняя. Лавров перелистнул страницу и прочёл строки, которые писал сам два года назад: «Женитьба рекомендована в связи с необходимостью укрепить легенду. Жена в курсе не поставлена. Решение принято по согласованию с Центром». Он вспомнил, как диктовал эту фразу машинистке и как та ни разу не подняла глаз. Рядом лежала фотография: молодая женщина в светлом пальто, на фоне какого-то собора, смеётся и держит руку козырьком, щурясь от солнца. Её звали Эльфрида.

В прошлом октябре советские войска ушли из Австрии. Страна стала нейтральной, на улицах Вены повесили красно-бело-красные флаги, и город, который десять лет стоял разделённым на четыре сектора, вдруг открылся, как квартира после отъезда жильцов. Для разведки это означало одно: теперь в Вене работали все. Англичане, американцы, французы, немцы, итальянцы, швейцарцы, поляки, чехи, венгры. Каждая служба вела свою игру, и в этой толчее нелегал с лавкой радиоприёмников, который раз в две недели выходил в эфир с вечерней программой радиолюбителей, был почти невидим.

Почти. Теперь, когда Лавров знал, что в течение одиннадцати месяцев по линии Вюнсдорф — Карлсхорст ходили разговоры о запасных каналах, он видел в этих словах другое. Тот, кто захочет найти Рудина, найдёт его на третий день. Хватит одного человека, который читает расшифровки и умеет складывать. Лавров не думал, что такой человек есть. Но не думал и обратного.

Он закрыл папку. Из коридора доносились шаги дежурного, равнодушные и ровные. Лавров лёг, не раздеваясь, и лежал, глядя в потолок, на котором от уличного фонаря держалось неподвижное пятно света. В Москве в этот час Лидия, наверное, проверяла тетради, а Наташа спала, обняв подушку, как это делала с шести лет. До Вены отсюда было шестьсот километров, и он мог дойти до телефона на первом этаже, набрать номер и сказать две фразы. Номер он знал наизусть. Фразы были короткие.

Он не встал. Через час или два он уснул, не успев решить, было ли это решением.

Двадцать первого апреля, в субботу, весь день моросило. К вечеру Лаврова вывезли в Альтглинике, на окраину, где с утра работали сапёры и связисты. Территория была обнесена свежим канатом. Солдаты стояли цепью. На земле, прямо на грязи, лежали фанерные щиты, и по ним, придерживая полы шинелей, ходили офицеры.

Тоннель вскрыли днём, когда нужные люди уже были на месте и нужные бумаги подписаны. Лавров этого не видел. Он видел только то, что осталось: дыру в земле, тёмную, неожиданно узкую, в которой по краям блестели свежие разрезы грунта. Из дыры тянуло сыростью, смешанной с запахом железа и чужой смазки. Внутри, шагах в десяти от края, начиналась труба из стальных колец, в рост человека. Она уходила на запад, и свет фонарей скоро терялся в ней, как в горле.

Один из сапёров, молодой, в мокрой каске, подошёл к Лаврову и сказал:

— Товарищ подполковник, там кончается. Дальше стена. Мы вскрыли с нашей стороны, а дальше щель и темно, без света не видно.

— Ничего не трогайте.

— Есть.

Рядом уже ставили табличку. На деревянном щите по-русски и по-немецки было написано: «Вход воспрещён. Командующий». Дальше стояла подпись, которую Лавров не стал читать. Он понимал, что к утру в западных газетах будет фотография этого щита и что она, вместе с фотографией дыры, станет главным доказательством того, что русские не боятся показывать. Что нечего скрывать.

С запада доносились голоса. Кто-то кричал через границу, вспыхивали магниевые лампы. Репортёры стояли у проволоки в плащах, с блокнотами, и один, высокий, в светлой шляпе, показывал на тоннель рукой, объясняя другому, как рассказывают о чужом несчастье, которое тебя самого не касается. Утром по радио передавали, что руководители советского правительства в Лондоне осматривают достопримечательности. Вечером, наверное, передадут, что это сделали гангстеры. Слово «гангстеры» было вписано в заявление ещё вчера.

Тимофеев стоял в стороне, курил, не вынимая папиросы изо рта. Увидев Лаврова, он кивнул, и они вместе отошли к машине.

— Ну как? — спросил Тимофеев.

— Что «как»?

— Впечатление.

— Они потратили деньги, — сказал Лавров. — Много. И время. И людей. Тоннель сделан добротно, это чувствуется. Такая работа не для одной ночи.

— Для года.

— Для года. — Он помолчал. — И весь этот год мы позволяли им делать то, что они делали.

— Позволяли.

— Из-за одного человека.

— Из-за одного человека, — повторил Тимофеев. — Которого вы не знаете и никогда не увидите.

Лавров посмотрел на дыру в земле, куда уже сгоняли людей с брезентом. Там, под сырой почвой, лежали четыреста метров стальных колец, сложенных иностранными руками. Через них одиннадцать месяцев ушло в Лондон и Вашингтон всё, о чём говорили по закрытым линиям майор Ковалёв и сотни других, звонивших жёнам, диктовавших графики, жаловавшихся на начальство, обещавших приехать в отпуск. А где-то над ними, наверху, человек в приличном костюме подписывал бумаги, радовался, что дело сделано, и не знал, что его собственные слова уже прочитаны с другой стороны.

— Я, может быть, неправ, — сказал Лавров.

— В чём?

— В том, что сказал вчера. Про Вену.

— Вы были правы.

— Тогда зачем вы...

— Потому что это ничего не меняет. — Тимофеев бросил папиросу на мокрую траву и придавил каблуком. — Вы были правы, и вас записали. Больше от вас ничего не требуется.

Они сели в машину. Шофёр включил зажигание, и «победа», подскочив на ухабе, выехала на шоссе. Лавров смотрел в окно. На обочине стоял часовой, мальчишка лет девятнадцати, в мокрой шинели, с винтовкой на плече. Он стоял неподвижно, лицом к тоннелю, и по его каске стекали капли.

Записка в Москву ушла в понедельник, двадцать третьего. В ней было четыре страницы текста и приложение из одиннадцати. Лавров писал её сам, на машинке, в той же комнате без окна, и последней строкой, после подписи, поставил приписку, которую никто не требовал:

«Предлагаю в течение 90 дней уведомить корреспондента в Вене о возможной компрометации запасных каналов. Нерешённым остаётся вопрос о безопасности источника в Берлине».

Он перечитал это дважды. Приписка не сулила ему ничего: ни награды, ни наказания. Она оставалась в деле, и тот, кто через год или через пять лет открыл бы папку, нашёл бы её на последней странице и понял бы, что один из участников этой истории задавал вопрос.

Ответ пришёл через неделю. Он был написан от руки на узкой бумажной ленте, которую вклеили в карточку: «Принято к сведению. Срок уведомления определит Центр».

Лавров вклеил ленту обратно, закрыл папку и отнёс её в архив.

Вечером он гулял по Карлсхорсту. На улицах цвели каштаны, пахло землёй и бензином. Он дошёл до озера, посидел на скамейке. По воде плыла парочка уток, и тихо, где-то в стороне, играло радио: оркестр, потом диктор, потом снова оркестр. Лавров достал блокнот и записал строчку, не думая, зачем: «Майор Ковалёв. Говорит жене, что всё хорошо». Листок он вырывать не стал.

Глава 3. Рейс «Орджоникидзе»

Москва, май – декабрь 1956

В Москву Лавров вернулся в первых числах мая. Город стоял в цвету, в трамваях пахло сиренью и мокрыми зонтами, на Лубянке красили решётки. Бумаги из Берлина ушли наверх раньше него и вернулись с резолюциями. На одной из них, в левом углу, стояла красным карандашом буква «О», что означало «ознакомлен», и росчерк, которого он не знал.

Орлов встретил его в коридоре с газетой «Правда» в руках. Газета была сложена вчетверо, и он ткнул пальцем в пятую полосу.

— Читал? Про англичан.

— Нет. Что там?

— Скандал в Портсмуте. — Орлов держал палец на нужной колонке, как держат на карте город, о котором собираются рассказать. — Когда наши товарищи приехали на крейсере, у них под кормой нашли водолаза. Наш вахтенный увидел человека в резиновом костюме, который плавал вокруг винтов. Составили акт, послали ноту. «Позорный акт шпионажа», так прямо и написано.

— А что англичане?

— Выразили сожаление. Мне рассказали, что они сперва ничего не поняли. Потом сказали, что водолаз, возможно, был из числа тех, кто тренируется в бухте, и что правительство Её Величества не имеет к нему никакого отношения. А потом, говорят, один ихний адмирал вообще заявил, что пропавший человек погиб при испытаниях. Но не в тот день, не в том месте и вообще без нашего крейсера.

— Он погиб?

— Его нет. Это не одно и то же, но в газете выглядит похоже.

Лавров взял газету. Заметка была набрана мелким шрифтом, с двумя подзаголовками. «Провокация против советских моряков». «Нота правительства СССР». Он дочитал до конца, аккуратно сложил лист и вернул Орлову. По дороге в кабинет он подумал, что в этом деле нет ни одной детали, которая была бы лишней. Крейсер «Орджоникидзе» привёз руководителей страны в Англию с визитом. На второй день под его корпусом плавал чей-то человек. Через два дня в Берлине нашли тоннель, который вёл к кабелям, по которым ходили слова майоров и подполковников. В обоих случаях сообщения о нарушении границы публиковались в газетах с одинаковым количеством восклицательных знаков.

Он знал, как оценивают такие вещи в обеих столицах. В Лондоне скажут, что русские затеяли шум, чтобы отвлечь внимание от берлинского тоннеля. В Москве скажут, что англичане послали водолаза, чтобы срезать с крейсера какую-то деталь. Обе стороны будут правы, и ни одна не докажет другой, что водолаз и тоннель связаны только числом на календаре.

На столе у него лежала папка с новыми материалами. Он сел, развязал тесёмки и принялся читать, и скоро забыл про водолаза.

В июле Лидия с Наташей уехали к её матери под Звенигород, и Лавров приезжал к ним по субботам с утренней электричкой. Домик был старый, на краю деревни, с верандой, на которой стояла кадка с засохшей геранью, и с огородом, где росла одна картошка. Анна Матвеевна встречала его на пороге в тёмном платке, в котором ходила с весны, и не говорила, что надо поесть. Говорила только: «Руки вымой».

Справку о смерти мужа она прочла в мае. Лидия привезла её лично, сама отнесла и села рядом, чтобы не оставлять одну. Старуха прочитала, сложила вдвое, потом ещё раз, убрала в карман фартука и спросила:

— А где?

— Не написано, мама.

— А могила?

— Не написано.

— Значит, нет.

— Мама.

— Нет могилы, — повторила Анна Матвеевна. — Значит, не лагерь. В лагере хоронят.

Лидия потом рассказывала это Лаврову шёпотом, на кухне, прикрывая дверь. Он слушал и не отвечал. Ему было нечего ответить, потому что старуха была права, а он знал, что она права, и не мог сказать ни слова.

В ту субботу, в конце июля, они втроём поехали в Москву на службу в церкви на Ордынке. Лавров не планировал этого. Лидия сказала утром, что мать хочет поставить свечу, и что она тоже. Он понимал, что просить её не ехать нельзя, а ехать ему самому, подполковнику КГБ, члену партии с сорок первого года, в церковь, где в это время могут стоять агентурные «глаза», невозможно. Он поехал.

Церковь стояла в глубине двора, жёлтая, с облупленной штукатуркой, и внутри пахло воском, камфорой и сырой известью. Народу было немного, человек двадцать: старухи в платках, женщина средних лет с мальчиком, двое стариков, которые крестились, не поднимая глаз. Анна Матвеевна купила три свечи, поставила перед иконой Скорбящей. Лидия стояла рядом. Лавров стоял сзади, у колонны, с руками за спиной.

Служба шла негромко. Молодой священник читал поминание, и когда прозвучало «Петра», Лавров увидел, как у Анны Матвеевны чуть дёрнулось плечо. Только это.

После службы они вышли во двор. Лидия взяла мать под руку. Наташа, тринадцати лет, которую привели нарочно, чтобы показать, шла сзади и смотрела по сторонам с тем серьёзным любопытством, с каким дети смотрят на то, чего им не объясняют.

— Папа, — сказала она, когда они шли по переулку, — а дедушка был враг народа?

— Нет.

— Тогда почему его арестовали?

— Потому что была ошибка.

— Большая?

— Большая.

— Кто ошибся?

Он замолчал. Лидия на секунду замедлила шаг, не оглядываясь. Старуха шла, сжав губы.

— Много людей, — сказал он наконец. — Это было такое время.

— А теперь другое?

— Теперь другое.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что мы с тобой идём по улице и не боимся.

Это была фраза, которую можно было напечатать в газете. Наташа посмотрела на него, чуть наклонив голову, и сказала:

— А ты боишься?

— Нет, — сказал Лавров.

Она промолчала, и он понял, что она не поверила, и что она не скажет ему об этом ни сейчас, ни завтра. Ей было тринадцать. В её возрасте ещё умеют проверять взрослых по лицам.

Четвёртого ноября он не спал с трёх часов. Ему позвонили из дежурной части в начале четвёртого и велели приехать к шести. Лавров оделся в темноте, чтобы не будить жену, вышел на улицу, где было морозно и пусто, и дошёл до остановки. Трамвай пришёл через четверть часа, полупустой, с жёлтыми лампами.

В здании на Лубянке в этот час горели все окна. На лестницах стояли люди, курили, переговаривались вполголоса. Он поднялся на свой этаж. В коридоре у кабинета Гордеева его остановил Орлов, сероватый, небритый, в мятой рубашке без галстука.

— Началось, — сказал он.

— Что началось?

— В Будапеште. В три часа наши вошли. — Он говорил быстро, как человек, которому нужно высказать всё сразу, пока не передумал. — Операция называется «Вихрь». Маршал Конев. Нагий выступил по радио в пять двадцать, просил помощи. Говорят, больше не выступал.

— А Серов?

— Серов в Венгрии. Они вчера арестовали венгерских генералов, их позвали на переговоры в Токол, и там взяли. Малетера, ещё кого-то. Прямо в зале, за столом.

— На переговорах.

— Да.

Лавров не нашёл, что сказать. Он смотрел на Орлова, на его небритый подбородок и на тонкую жилку на виске, которая подрагивала в такт речи. Орлов был человек лёгкий, в этом заключалась его профессия. Но сейчас лёгкость с него слетела, как краска со старой решётки.

— У меня двоюродный брат в Будапеште, — сказал Орлов. — Работает в посольстве. Позавчера звонил. Говорит, на улицах стоят венгры и бросают в танки бутылки. Мальчишки. В пятнадцать, в шестнадцать лет. — Он помолчал. — Я ему сказал, чтобы сидел дома.

— Что он ответил?

— Что дома сидеть нельзя. Там везде стреляют.

Они стояли у окна. За стеклом начало сереть, над площадью проступали крыши. Внизу проехала чёрная «Волга», и у подъезда из неё вышел человек в генеральском пальто.

— Знаешь, что мне пришло в голову? — сказал Орлов. — В марте нам читали доклад. Мы сидели в зале и слушали про ошибки. Кто-то плакал. А сейчас, сегодня, мы туда танки послали. Я не понимаю, одно к другому как?

— Не знаю.

— Я тоже.

— Идите работать, — сказал Лавров. Он услышал в собственных словах голос Гордеева и поморщился.

Днём сводки шли каждые полчаса. Он читал их, не вникая, делал пометки, передавал по начальству. К вечеру в здании стало тише. Потом позвонила Лидия и спросила, придёт ли он к ужину. Он сказал, что придёт поздно. Она сказала: «Хорошо», и в трубке был слышен голос Наташи, которая смеялась над чем-то по радио.

В последующие недели Вена заполнилась беженцами. Через границу шли десятки тысяч, потом больше ста тысяч. Венские газеты печатали списки приезжих. Западные службы ставили в лагерях столы и опрашивали каждого, кто хотя бы раз служил в венгерской армии или полиции. В декабре от Рудина пришло донесение, обычное, по расписанию, по запасному каналу, зашифрованное и сжатое в четыре цифровые группы. Лавров расшифровал сам, ночью, на карточке. В конце, после трёх фраз, которые ничего не содержали, стояла четвёртая: «Лавка работает. Покупателей мало».

Он прочёл это, подержал карточку над пепельницей и сжёг.

Платов уехал в середине декабря. Как именно, Лавров не записывал, даже в блокноте, даже шифром. Помнил только, что прощались они в комнате на даче в Малаховке, в понедельник утром, а к вечеру Платова уже не было в Москве.

Накануне они долго сидели за столом. Платов к тому времени уже почти не говорил по-русски. Он отвечал по-английски, с лёгким ровным акцентом, который Лавров назвал бы канадским, если бы не знал, откуда тот взялся. Они вместе выпили по рюмке водки, непривычной на вкус, как всякая вещь в последний вечер.

— Я хотел спросить, — сказал Платов.

— Спрашивайте.

— Когда я там буду, мне будет приходить связь через вас?

— Первое время да.

— А потом?

— Потом, возможно, другой человек.

— Тоже вы выбираете?

— Нет.

— Жаль. — Платов повертел рюмку. — Мне хотелось бы знать, кто. Если всё будет плохо, и я напишу, и придёт ответ, хорошо знать, чей он.

— Ответ будет подписан не фамилией.

— Это ясно. Но почерк.

Лавров поднял глаза. Он вдруг увидел, что Платов говорит не о бумаге. И что вопрос, который он задаёт, не о том, кто его будет вести, а о том, будет ли на том конце человек, которому не всё равно.

— Почерк будет мой, — сказал он. — Пока я здесь.

— А если вас не будет?

— Тогда напишут по-другому, но смысл будет тот же.

— Смысл. — Платов усмехнулся. — Вы хотели сказать «приказ».

— Я хотел сказать то, что сказал.

Они допили. Потом Лавров достал из внутреннего кармана маленькую книжку, обыкновенную, в бумажной обложке, английский детектив, купленный у букиниста на Кузнецком, и положил на стол.

— Это что?

— Для дороги. Читайте, когда будет скучно. Другие вещи вам не понадобятся.

Платов взял, повертел, раскрыл на первой странице. Там была только печать магазина и чьё-то неразборчивое «М. К.», написанное шариковой ручкой, редкостью в Москве. Лавров сам не знал, почему выбрал именно эту книжку. Он купил её, потому что показалась странно новой.

Утром Платов собрался быстро и молча. Куртка, чужие ботинки, небольшой чемодан, который Лавров осмотрел в последний раз: бритва, сорочки, мыло, носки. Всё английское, всё поношенное, с чужими метками на подкладках.

— Ну, — сказал Платов.

— Ну.

Они не пожали друг другу руки. Тот просто кивнул, подхватил чемодан и вышел через калитку, оставив дверь открытой. Лавров стоял на крыльце. Снег шёл мелкий, колючий, и на тропе, где ушёл человек, следы быстро замело.

Сторож с овчаркой посмотрел на него и ничего не сказал.

В конце декабря Гордеев вызвал его в кабинет и без вступления положил на стол папку.

— Посмотрите. Не ваше. Просят мнения.

— Чьё?

— Помощник «Марка». Агент «Вик». Нью-Йорк.

Лавров знал рабочее имя «Марка», как знали его все в отделе: старый разведчик, которого вели ещё с сорок восьмого, человек почти легендарный, о котором говорили вполголоса и без фамилии. «Вика» он не знал.

Папка была тоньше, чем он ожидал. Лавров открыл. Фотография была маленькая, три на четыре: молодой человек с широким лицом, светлыми бровями, чуть оттопыренными ушами. Взгляд прямой, чуть мутный, как у людей, которые долго смотрят на свет. Год рождения: двадцатый. Финский язык родной, русский второй. На службе с военных лет. В США с пятьдесят второго.

Он перелистнул страницу.

— Что с ним не так?

— Не знаю, — ответил Гордеев. — Потому и прошу. «Марк» жалуется. В последние месяцы письма идут на одну тему.

— Какую?

— Не может работать с помощником. Пьёт. Тратит деньги не по назначению. Не выполняет заданий. Врёт в отчётах. — Гордеев перечислял без выражения, как диктуют инструкцию. — «Марк» пишет, что дальше так продолжаться не может, что ему нужна замена. Или хотя бы вызов этого в Москву.

— А руководство?

— Руководство хочет знать, что вы думаете.

— Я его не видел.

— Фотография в папке. Посмотрите и подумайте.

Лавров закрыл папку. Он знал, как это делается. Человек, которого не жалко, оказывается там, где что-то идёт не так. Его проверяют, потому что нужно кого-то проверять. Он должен был решить, достаточно ли того, что написано в папке, чтобы отозвать помощника «Марка», рискуя оставить «Марка» без поддержки на год, на два. Или, наоборот, достаточно ли, чтобы оставить, рискуя тем, что в одно утро в Нью-Йорке что-то обрушится.

— Сколько времени у меня? — спросил он.

— До середины января.

— Много.

— Мало. — Гордеев пододвинул пепельницу, закурил. — Я вам скажу, Виктор Сергеевич, что думаю сам. Я думаю, что вызывать нужно. Но решаю не я. И если вы напишете, что нужно оставить, я не стану спорить.

— Почему?

— Потому что вы только что вернулись из Берлина, где вам, я слышал, не дали ответить на один вопрос. И теперь вы будете осторожны. — Он выпустил дым. — А я предпочитаю людей, которые научились осторожности. Они меньше ошибаются.

Лавров взял папку, вышел в коридор. Ковровая дорожка на этаже была новая, зелёная, с узким красным кантом. Кто-то успел постелить её за ночь. Шаги по ней звучали глухо и ровно, как по мягкой земле.

Читать папку он начал дома, поздно вечером, когда жена с дочерью легли. Выносить документы из здания не полагалось, и Лавров не вынес их: он принёс в голове то, что успел запомнить за день, и разложил на кухонном столе спичками, как раскладывают шахматную задачу. Здесь «Марк». Здесь «Вик». Здесь город, которого никто из них не называл в письмах по имени.

Письма «Марка» шли по одному в два-три месяца. Они были написаны сухо, чётко, без жалоб, и поэтому на их фоне каждая жалоба выглядела особенно серьёзной. «Помощник по-прежнему не проявляет должного усердия». «В течение апреля дважды не явился на условленную встречу без объяснения причин». «При разговоре обнаруживает признаки алкогольного опьянения. Уговоры результатов не дали». «Считаю необходимым поставить вопрос о его замене или отзыве».

Лавров читал это в конце октября, в первом чтении, и тогда ему казалось, что он знает этот голос. Так писал пожилой человек, давно привыкший к тому, что подчинённые в чём-то его подводят, и считавший это не личной обидой, а свойством человеческого материала. В декабре он читал иначе.

Рапорты «Вика» хранились отдельной стопкой. Их было немного. Лавров сложил их по датам и заметил, что они становятся короче. В пятьдесят третьем «Вик» писал на две страницы, подробно, с деталями. В пятьдесят пятом одна страница, и фразы короткие, как у чело-

века, которому лень думать. В пятьдесят шестом он писал на полстраницы, и два раза подряд повторил в тексте одно и то же выражение: «ситуация под контролем».

Лавров отодвинул листы и вернулся назад, в июль пятьдесят третьего. Там нашлось то, что он сперва принял за пустяк. В донесении «Вика» значилась короткая строка: «Утерян контейнер № 2, пятицентовая монета, внутри микроплёнка. Поиски результата не дали. Содержание плёнки: приветствие и общие инструкции, ценности не представляет».

Ниже стояла помета рукой «Марка», на полях: «Принято. Эпизод не критичен».

Он вернулся к этой строке дважды. Потерянная монета. Такие контейнеры придумывали в Москве, когда нужно было передать маленькое сообщение так, чтобы ни одна рука, кроме своей, не могла о нём догадаться. Монета, в которой просверлено отверстие. Спичечный коробок с двойным дном. Полый болт. Каждый из этих предметов проходил по десяткам рук, и каждый время от времени терялся. Лавров знал, что потеря контейнера не есть катастрофа. Катастрофой это становилось только в том случае, если утерю находили.

Он рассуждал дальше. Тогда, в пятьдесят третьем, «Вик» был в Америке меньше года. Монета была потеряна у него. Он признался в этом, объяснил, что содержание не представляет ценности, и ему поверили. Но вместе с тем он признался и в чём-то другом: в том, что не может объяснить, как монета пропала. Его слова: «Предположительно выпала из кармана в метро».

В метро. Лавров снова посмотрел на строку. Монета в пять центов, с отверстием, с микроплёнкой. Выпавшая в метро.

Возможно. Всё возможно.

Он заметил, что рука с карандашом дрожит, и положил карандаш. На кухне было тихо. За стеной сопела Наташа, как делала с младенчества, когда видела сон. С улицы доносился скрип чьих-то шагов по морозному снегу. Лавров встал, налил воды, выпил, вернулся.

Он писал почти до утра. К рассвету у него было три листа текста и один вопрос, который он оставил без ответа, потому что не знал, как его задать. Вопрос был простой. Если человек, потерявший монету в метро, продолжает работать, получать деньги, получать задания и пить, то что произойдёт в тот день, когда монету найдёт кто-нибудь, кроме Москвы?

Он вычеркнул последнюю строку, подумал и написал её снова.

Глава 4. Вик

Москва, январь – апрель 1957

Записку Лавров назвал «Соображения по вопросу о помощнике «Марка»» и уложил в две с половиной страницы. Он знал, как читаются такие бумаги: первую страницу просматривают, вторую читают, третью пропускают, но именно на третьей оставляется всё, что потом придётся цитировать. Поэтому самое важное поставил на вторую, а на третью вынес то, что хотел бы увидеть в протоколе.

Вывод звучал просто: отозвать. Не наказывать, не обвинять, не передавать в проверку, а отозвать, спокойно, с объяснениями, которые не пугают. Нью-Йоркский помощник, писал он, по совокупности признаков не соответствует требованиям, предъявляемым к работе в условиях контрразведывательного противодействия. «Не исключено, что неисправность носит бытовой характер и может быть устранена в результате смены обстановки. Не исключено также, что за ней стоит более серьёзное обстоятельство, о котором «Вик» не сообщал. В любом случае дальнейшее его пребывание на объекте представляется нецелесообразным».

Лавров перечитал последнюю фразу и убрал слова «в любом случае». Они придавали тексту оттенок приказа, а он не хотел приказывать. Хотел, чтобы его услышали.

В середине января Гордеев вызвал его к себе и положил записку на стол.

— Прочёл. Подписывать не буду.

— Почему?

— Потому что подпишет не одна подпись. Пойдёт на комиссию. — Гордеев поднял глаза. — Завтра в одиннадцать. Придёте в зал на втором этаже, объясните то, что написали. Они будут спрашивать. Отвечайте коротко. Не оправдывайтесь, если спросят про Берлин.

— Про Берлин?

— Всегда спрашивают. — Он постучал пальцем по записке. — И ещё. Там будет Рогозин.

Рогозин был начальником кадрового управления, человек с мягкими пухлыми руками и очень тихим голосом, которого боялись больше, чем громких. Лавров встречал его дважды. Первый раз в сорок седьмом, когда подписывал документы о переводе. Второй раз в пятьдесят четвёртом, на похоронах одного из сослуживцев. Оба раза Рогозин пожимал ему руку обеими ладонями и называл по имени-отчеству, и оба раза Лавров потом долго мыл руки.

Зал на втором этаже был узкий, с длинным столом под зелёным сукном. Вдоль стен стояли шкафы с книгами, которые никто не читал, и на подоконнике росла чахлая традесканция в кадке. Комиссия состояла из пяти человек. Председательствовал генерал-майор, лысый и грузный, с орденскими планками в три ряда. По правую руку от него сидел Рогозин, по левую — подполковник из отдела по работе с нелегалами в Западной Европе, фамилии которого Лавров не знал, а ещё дальше двое молчаливых людей в штатском, которых никто не представил.

— Начнём, — сказал генерал. — Подполковник Лавров. Прошу вас изложить существо.

Лавров встал, раскрыл папку.

— Агент «Вик», тысяча девятьсот двадцатого года рождения, на оперативной работе с военных лет. Направлен в США в пятьдесят втором. С пятьдесят четвёртого работает помощником «Марка». За время работы на объекте зафиксированы: многократные срывы встреч, нарушения режима безопасности, признаки злоупотребления спиртным, расходование оперативных средств не по назначению, искажение сведений в донесениях. Все перечисленное подтверждается письмами «Марка» и ответами самого «Вика». Я считаю, что дальнейшее использование его в этом качестве нецелесообразно и что необходимо отозвать его в Москву для проверки и для переподготовки.

— Для проверки, — повторил Рогозин мягко. — Вы употребили слово «проверка».

— В смысле, для служебной проверки. Не... — Лавров запнулся.

— Не какой?

— Не следственной.

— Понимаю.

Генерал постучал карандашом по столу.

— Вопрос, товарищи.

— Позвольте, — сказал подполковник по Западной Европе. Голос у него был спокойный, чуть скрипучий. — Товарищ Лавров, вы в письменной записке утверждаете, что «за неисправностью может стоять более серьёзное обстоятельство». Что вы имеете в виду?

— Что мы не можем исключить связь с противником.

— Основания?

— Прямых нет.

— Косвенные?

— Падение качества донесений. Снижение дисциплины. Это может быть и усталостью, и пьянством. Но это же может быть следствием того, что человек находится под давлением, о котором мы не знаем.

— Это домыслы.

— Это гипотеза.

— В нашей работе, — сказал подполковник, — гипотеза без оснований называется иначе.

Лавров промолчал. Он понимал, что подполковник прав, и понимал, что возражать бессмысленно. Но слова уже были произнесены, и в протокол они попадут.

— Я продолжаю, — вмешался Рогозин. Он говорил тихо, и все слушали. — У меня другой вопрос. Подполковник, вы пишете, что нужно отозвать. Допустим. А «Марк»?

— «Марк» останется один.

— На сколько?

— На срок, который потребуется. Я предлагаю подобрать ему новую связь.

— Из кого?

— Это вопрос не ко мне.

— А к кому?

— К Центру.

— К нам, — сказал Рогозин и улыбнулся. — Хорошо. А если мы отзовём «Вика», а он, находясь в Москве, поймёт, что его подозревают? И замолчит? Или выкинет что-нибудь, чего вы не предусмотрели?

— Я думал об этом.

— И что вы предлагаете?

— Отозвать под благовидным предлогом. Отпуск. Поощрение. Что-то, что не вызовет у него тревоги.

— Он не дурак.

— Нет. Он пьющий человек. Это другое.

За столом кто-то хмыкнул. Генерал посмотрел на Лаврова из-под тяжёлых век.

— Это вы сейчас серьёзно, подполковник?

— Да.

— Расскажите.

— Человек, который пьёт, не обязательно глуп, — сказал Лавров. — Он осторожен по-своему. Он ждёт подвоха там, где его нет, и не замечает там, где он есть. Если сказать ему, что его хотят наказать, он сорвётся. Если сказать, что его вызывают за наградой, он усомнится, но пойдёт, потому что очень хочет, чтобы это была награда.

— И вы считаете, что он пойдёт?

— Да.

— На основании чего?

— На основании того, что в его письмах очень много просьб о повышении.

Генерал перелистнул страницу. Тишина тянулась долго.

— Хорошо. Есть ещё вопросы?

— У меня, — сказал Рогозин. — Подполковник, вы были в апреле в Берлине?

— Был.

— И вам не позволили предупредить венского корреспондента?

— Мне предложили записать, что я предлагал.

— И вы записали.

— Да.

— Хорошо. — Рогозин сложил ладони. — Я не к тому, чтобы упрекнуть. Я к тому, что вы человек, который привык оставлять в бумагах возражение. Это ценное качество. Но его надо использовать так, чтобы оно не мешало работе.

— Мешало ли оно?

— Нет. — Он улыбнулся. — Пока нет.

Лавров сел. В висках стучало. Генерал объявил заседание закрытым, комиссия вышла, и он остался один в зале. Из окна был виден двор, в котором мальчик в солдатской шинели и без шапки подметал снег.

Через два дня после комиссии Лавров поехал на Арбат. Адрес он получил в кадрах: Зиновий Борисович Гершензон, шестьдесят восемь лет, пенсионер, в сорок девятом – пятьдесят втором преподаватель радиодела и общего курса на закрытых курсах, где готовили людей, которых потом называли нелегалами. Среди учеников Гершензона значился человек тысяча девятьсот двадцатого года рождения, финн по матери, из карельской деревни.

Старик жил в коммунальной квартире на третьем этаже, в комнате с двумя окнами, где пахло лекарствами и книжной пылью. Столы были завалены радиодеталями. На подоконнике стоял паяльник, а над кроватью висела пожелтевшая фотография молодого человека в форме, которого Гершензон назвал сыном и о котором больше не говорил.

— Вик? — переспросил он. — Помню. Как не помнить. Хороший радист.

— Только радист?

— Нет, почему. — Гершензон поправил очки, перемотанные изолентой. — Учился хорошо. Руки у него были точные, понимаете, пальцы. Передатчик собрал за четыре дня, мне такая скорость не снилась. А вот голова... — Он помолчал. — Голова была занята другим.

— Чем?

— Разговорами. Он любил разговаривать. Не по делу, а так. Сядет после занятий, достанет папиросу и рассказывает: про мать, про деревню, про озеро, про то, как зимой лёд трещит и в соседнем доме слышно. Я слушал, мне было интересно. Но я думал: вот человек, который боится тишины.

— Боится?

— Не то чтобы боится. Не выносит. — Гершензон повертел в руках паяльник и поставил на место. — Когда он замолкал, у него менялось лицо. Появлялось такое выражение, будто он видит что-то на дальней стене. Тогда он говорил громче, или шёл за водкой, или просил включить приёмник. Я у него однажды спросил: Вик, чего ты ищешь? Он ответил: ничего.

— И вы поверили?

— Нет.

Лавров записал: «Не выносит тишины». Потом: «Разговорчив». Потом, после паузы: «Менялось лицо».

— Скажите, — спросил он, — как он держался на экзаменах по легенде?

— По-разному. Это был его слабый пункт. Он путался. Однажды на проверке его спросили имя матери по документам, и он назвал настоящее. Не то, что в легенде. Он сам заме-

тил, побелел, извинился. Ему поставили «удовлетворительно». Потом на разборе кто-то сказал: человек, который не помнит чужое имя матери, всегда помнит своё.

— И что вы об этом думаете?

— Что это плохой приём для оценки людей. — Гершензон усмехнулся. — Нет таких людей, которые бы забыли настоящее. Это не провал. Это природа.

За окном проехал грузовик, и в комнате чуть дрогнули стёкла. Старик подождал, пока шум стихнет.

— Вы к нему с чем пришли? — спросил он тихо. — Что с ним?

— Не могу сказать.

— Он жив?

— Жив.

— Тогда я скажу вам одну вещь. Если вы собираетесь ему что-то сделать, — он поднял руку, останавливая возражение, — я не спрашиваю, что. Я скажу, что он человек, который всегда ждёт, что его накажут. Он этого ждёт с детства. Это его способ жить: ждать наказания и заранее готовиться. И если вы его вызовете и скажете «приезжайте, мы вас награждаем», он не поверит. Он решит, что это ловушка. Он будет ехать и всю дорогу готовиться к худшему.

— И что он сделает?

— Не знаю. Что-нибудь. Или придёт, как овца, потому что ему некуда деваться, или... — Гершензон пожал плечами. — Человек, который готовится к худшему, может приготовиться к чему угодно.

Лавров сидел с блокнотом на колене. Он не писал. Он думал о собственной формуле, произнесённой перед комиссией, о том, что человек, который очень хочет, чтобы это была награда, пойдёт. Тогда это казалось ему мудростью. Теперь он видел, что построил расчёт на надежде, и что человек, ждавший наказания всю жизнь, мог легко отличить надежду от обещания.

— Спасибо, — сказал он.

— Не за что. — Старик проводил его до двери. — Вы передайте ему, если увидите. Скажите, что Гершензон помнит. Не про радио. Про то, как он рассказывал про озеро.

— Обязательно.

Он не передал. Он знал заранее, что не сможет.

В буфете на втором этаже Орлов ждал его за столиком у окна с двумя стаканами чая и тарелкой, на которой лежал остывший пирожок. Он сидел боком, положив локоть на подоконник, и смотрел во двор, где на снегу чернели следы чьих-то колёс.

— Слушай, — сказал он, когда Лавров сел. — Я тебе кое-что расскажу, а ты ничего не слышал.

— Хорошо.

— Рогозин спрашивал про тебя.

— У кого?

— У меня. Вчера. Позвал, предложил сесть, угостил папиросой. Я думал, насчёт Скандинавии. А он начал с погоды, потом спросил, как у вас с Лавровым отношения, давно ли работаем рядом, что за человек.

— Что ты ответил?

— Что ты человек надёжный и аккуратный. Что бумаги у тебя всегда в порядке.

— А он?

— Спросил, не бывает ли у тебя сомнений. Именно так: «сомнений». Не «настроений», не «разговоров», а «сомнений». — Орлов помолчал. — Я сказал, что у каждого честного человека бывают сомнения. Он улыбнулся и записал это в блокнот.

Лавров взял стакан. Чай был холодный, с тонкой плёнкой на поверхности. Он отпил, поставил обратно.

— Ты зря это сказал.

— Знаю. — Орлов вздохнул. — Но что я должен был, соврать? Он не из тех, кому врут. Он сам знает, когда врут.

— Что он ещё спрашивал?

— Про твоего тестя.

Слова упали между ними, как ложка на кафель. Лавров не пошевелился.

— Ну да, — продолжал Орлов тише. — Дело реабилитировано, ты не скрывал. В анкете всё указано. Он просто хотел знать, как ты воспринял. Я сказал, что не знаю. Что ты не из тех, кто о таком говорит.

— Правильно.

— Он кивнул. Сказал: «Это хорошее качество». — Орлов взглянул на него поверх стакана. — Витя, я не к тому, чтобы тебя пугать. Но он что-то готовит. Может быть, просто расстановку кадров. А может быть, тебя.

— Меня?

— Или нас всех. Не знаю. Сейчас такое время, понимаешь... Они ещё не поняли, куда повернёт. Те, кто в марте плакал, в мае могут стать теми, кто плакал не вовремя.

— Ты думаешь, это про меня?

— Я думаю, что ты написал записку, которая заканчивается словами «не исключено, что за этим стоит более серьёзное обстоятельство». И что людям, которые читают эту фразу, всё равно, что она значит. Они читают, что человек сомневается.

— Это не сомнение. Это анализ.

— Для них одно и то же.

Лавров посмотрел в окно. Двор был пуст, только дворник в ватнике сгребал снег деревянной лопатой, и на каждом взмахе у него поднимался белый пар. Ему захотелось выйти и сгребать снег вместе с ним, молча, до вечера, не думая ни о каких бумагах.

— Спасибо, — сказал он.

— Пирожок будешь?

— Нет.

— Я тоже. — Орлов отодвинул тарелку. — Они здесь всегда остывшие. Это единственное, в чём мы можем быть уверены.

Решение пришло в начале февраля. Оно было коротким и подписано четырьмя фамилиями. «Вика» отзывали. Срок: до конца апреля. Предлог: годовой отпуск с поощрением. Сопровождающий: нет. Маршрут: через Европу, с остановкой в Париже, где его встретит человек от парижской резидентуры, чтобы передать документы на остаток пути.

Лавров прочёл бумагу два раза. Всё было так, как он предлагал, и всё было не так.

— Париж, — сказал он Гордееву. — Зачем Париж?

— Так решили.

— Почему не напрямую? Через Нью-Йорк на пароходе до Ленинграда, например. Или через Хельсинки.

— Решили, что в Париже его проще проконтролировать. Там у нас сильная резидентура. А пароход, понимаете, идёт восемь дней. За восемь дней человек может передумать.

— Он может передумать и в Париже.

— Там у нас люди.

Лавров хотел сказать, что люди бывают разные, что человек, который чувствует подвох, ищет ближайший выход, и что в чужом городе, без языка, с карманом денег и недоверием к тем, кто его встретит, он этот выход найдёт. Но он не сказал. Слова остались у него в горле, как кость.

— А «Марк» знает?

— Ему сообщат.

— О чём?

— О том, что помощник отзывается для отпуска. Остального не знает.

— Он не знает, что вы думаете о «Вике»?

— Он знает, что думает он сам.

Лавров встал. Гордеев тоже поднялся и протянул ему руку, чего раньше не делал.

— Виктор Сергеевич. Вы сделали, что могли. Если что-то пойдёт не так, это не ваша вина.

— Я так не считаю.

— Вот потому вы мне и нужны.

В марте у них была годовщина. Двадцать один год, как они с Лидией расписались в ЗАГСе на Красной Пресне. День был будний, и вечером Лавров пришёл поздно: комиссия по нелегальной линии продлилась до девяти, а потом ещё полчаса он ждал машину. Дома его ждал накрытый стол, бутылка «Цинандали», которую Лидия хранила три года, и пирог с капустой. Наташа ела быстро, уткнувшись в тарелку, и убежала в комнату, как только позволили приличия.

— Помнишь, — сказала Лидия, когда они остались вдвоём, — как мы в тот день пошли в кино, а там показывали «Чапаева», и ты уснул?

— Я не уснул.

— Уснул. Я смотрела на тебя, а ты спал, с открытым ртом. Я тогда подумала, что вот, буду жить с человеком, который засыпает на «Чапаеве».

— И как?

— Жила. — Она подлила вина. — Не жалуюсь.

Они чокнулись. Вино было кислое, и они оба сделали вид, что оно хорошее.

— Витя, — сказала Лидия. — Можно я спрошу?

— Спрашивай.

— Ты бы хотел уйти?

— Куда?

— Оттуда. С работы. Совсем.

Он посмотрел на неё. Лампа под абажуром бросала жёлтый круг на скатерть, и лицо Лидии оставалось в тени, только волосы светились у висков. Седых прядей стало больше, чем он помнил.

— Не знаю, — сказал он. — А ты бы хотела?

— Я бы хотела, чтобы ты не приходил так поздно.

— Это другой вопрос.

— Нет. Тот же.

— Лида.

— Витя. — Она накрыла его руку ладонью. — Я всё понимаю. Я не из тех жён, которые спрашивают, где ты был и с кем. Я знаю, где ты был. Я знаю, что ты не можешь рассказывать. Я только хочу знать, что ты помнишь, зачем это всё.

— Помню.

— Зачем?

Он помолчал. Хотел сказать: чтобы страна была в безопасности, чтобы враг не победил, чтобы дочь росла под мирным небом. Эти фразы лежали у него на языке, гладкие, как речная галька, и он знал, что любая из них прозвучит как цитата.

— Потому что кто-то должен, — сказал он наконец. — И я умею.

— Это хорошая причина?

— Не знаю. Другой нет.

— Тогда ладно. — Лидия убрала руку. — Иди спать. Я посуду помою.

Он не пошёл спать. Он сидел на кухне, пока она мыла тарелки, и смотрел, как капли стекают по её рукам, как вода с шумом уходит в раковину. Потом встал, взял полотенце и стал вытирать.

— Ты чего? — удивилась она.

— Так.

Они вытирали молча. Он был неловок и разбил блюдце, и они оба смотрели на осколки, не двигаясь, потому что блюдце было из свадебного сервиза.

— Ничего, — сказала Лидия. — Сервиз был старый.

Двадцать шестого апреля вечером Гордеев принёс ему копию телеграммы. Она пришла из Нью-Йорка по обычному каналу, коротко, четырьмя шифрованными группами, расшифрованными в тот же день. «Вик» выехал. Отплыл сегодня морем, прибытие в Европу ориентировочно в первых числах мая. Оттуда поездом до Парижа.

— Ну, — сказал Гордеев. — Поехал.

— Да.

— Через неделю будет в Париже. Нашему человеку отправлена шифровка.

— Кому?

— Нашему.

Лавров положил листок на стол. Руки были спокойны, и это его самого поразило: он ждал дрожи.

— Вы, кажется, нервничаете, — сказал Гордеев.

— Нет.

— Тогда что?

— Я думаю о том, что мы сделали всё правильно. — Лавров помолчал. — И что поэтому может случиться что-нибудь неправильное.

Гордеев усмехнулся.

— Вы начинаете говорить, как я. Это нехорошо.

— Знаю.

— Идите домой, Виктор Сергеевич. Через неделю всё будет известно.

Лавров вышел на лестницу. В здании было пусто, дежурный клевал носом. На площади под фонарями лежали мокрые листья. Где-то на другом конце света, в океане, уходил от американского берега огромный белый пароход, с оркестром, с флагами, с пассажирами в смокингах. На одной из его палуб стоял человек в плаще, с широким лицом и мутными глазами, и держал в кармане паспорт на имя, которым пользовался пять лет. Он смотрел на воду. Он, должно быть, думал о том, что едет за наградой.

Глава 5. Париж

Москва, май 1957

Телеграмма из Парижа пришла в пятницу, во втором часу дня, и Лавров прочитал её стоя, у стола шифровальщика, потому что дежурный не захотел ждать, пока он вернётся к себе.

«Встреча на вокзале не состоялась. Прибывшим поездом объект не приезжал. Запасная встреча по условию в 18.00 не состоялась. Ждали до 19.30. Просим указаний».

Он перечитал текст дважды, как читают результат анализа, в котором ничего нельзя изменить. Потом спросил, когда поезд должен был прийти и когда он действительно пришёл.

— По расписанию, — сказал дежурный. — Парижане сверили. Сошли все, кто был в вагонах. Его не было.

— Билет он брал?

— Откуда мне знать, товарищ подполковник.

Лавров поблагодарил, взял бланк и пошёл наверх, считая ступени. Привычка с детства: когда в голове было много, он считал ступени, и сейчас вышло сорок одна, на одну больше обычного, потому что на площадке третьего этажа он остановился и постоял.

Гордеев читал сводку, не поднимая головы. Лавров положил телеграмму на край стола и ждал. Гордеев дочитал абзац, отложил сводку, придвинул бланк, прочёл, потянулся за папиросой.

— Когда его отплытие подтвердилось? — спросил он.

— Двадцать шестого апреля. Нью-йоркская резидентура сообщила, что он выехал.

— Кто видел, как он садился?

— Никто. Мы просили не наблюдать, чтобы не спугнуть. Сказал по телефону жене и ушёл.

— Значит, мы знаем, что он сказал. Мы не знаем, что он сделал.

— Да.

Гордеев курил, глядя на дым. Лавров знал его десять лет и привык к тому, что в такие минуты тот не злится. Он делался вежливым, почти ласковым, и по этой ласковости можно было определить, насколько плохо дело.

— У вас есть мнение, Виктор Сергеевич?

— Есть три.

— Давайте все три.

— Первое: он сошёл раньше. В Гавре, или на пересадке, или в самом Париже, но не на вокзале, где мы его ждали. Испугался и решил переночевать в другом месте. Если так, он объявится в течение суток. Второе: он напился и спит. Это более вероятно, чем нам хочется думать, и тогда он объявится через двое-трое суток, виноватый и больной. Третье...

— Ну.

— Третье известно вам не хуже меня.

— Я хочу услышать это от вас.

— Он не приехал, потому что не собирался приезжать.

Гордеев кивнул. Он не стал спорить, и это было хуже любого спора.

— Что мы предпринимаем?

— Парижская резидентура продолжает наблюдение за вокзалом и за двумя адресами, которые у нас есть: гостиница, где он останавливался в пятьдесят втором на пути в Америку, и кафе возле Северного вокзала, о котором он однажды упоминал. Это всё. Больше у нас ничего нет.

— А по линии «Марка»?

Лавров ответил не сразу. Он думал об этом вопросе с утра двадцать шестого апреля и всё-таки не был готов.

— Это решаете не я.

— Я знаю, кто решает. Я спрашиваю, что вы предлагаете.

— Немедленно дать «Марку» сигнал на выезд. По аварийному каналу. Не ждать, пока выяснится, что с Виком.

— Прямой сигнал на выезд в Союз?

— Да.

— Через сколько он получит?

— Через день-два после передачи, если канал не нарушен.

— А если канал нарушен?

— Тогда он не получит и не выедет. Но от нашего сигнала хуже не станет.

Гордеев затушил папиросу. Движение вышло тяжёлым и медленным, и Лавров понял, что тот уже решил и теперь только подбирает слова.

— Хуже станет, — сказал он. — Если «Марк» выедет, а Вик окажется просто пьяным дураком, который отсыпается в дрянной гостинице, мы потеряем лучшего нелегала в Америке. Ради чего? Ради предположения. Ради вашего третьего мнения.

— Ради вероятности, которая не равна нулю.

— Нет, конечно. Она никогда не равна нулю. — Гордеев встал, подошёл к окну. — Виктор Сергеевич, вы работаете с нелегалами одиннадцать лет. Вы знаете, чем кончаются поспешные отзывы. «Марк» там с сорок восьмого. Двенадцать лет сети, адресов, связей. Мы снимем его на основании телеграммы о том, что человек не пришёл на вокзал?

— Мы снимем его на основании того, что человек, знающий его в лицо, адрес мастерской и закладочные места, не пришёл на вокзал.

— Знающий в лицо. — Гордеев обернулся. — Вот что нас беспокоит. А кто ещё знает его в лицо? Вы, я, трое в Первом отделе. Нет, давайте подождём. Три дня. Если через три дня Вик не появится, пойдём к председателю.

— Три дня — это долго.

— Три дня — это три дня. Никто не умирает от трёх дней.

Лавров взял бланк со стола. Он хотел сказать ещё одно: что в этой работе люди умирали и от меньшего срока, и что именно он, Гордеев, рассказывал ему про Ржев и про ту радиограмму, которая пришла на сутки позже. Но Гордеев и без того знал это, и слова ничего бы не прибавили.

— Хорошо, — сказал он.

— Составьте перечень того, что Вик мог бы выдать, если бы решил говорить. Подробный. К вечеру в понедельник.

— К вечеру воскресенья.

— Не нужно воскресенья, Виктор Сергеевич. Идите домой, отдохните.

Он не пошёл домой. В кабинете он положил перед собой лист бумаги и до одиннадцати вечера писал, зачёркивал и переписывал. Список выходил длинным. Он знал, как составляют такие списки: по тому, что человек видел, слышал и держал в руках. Вик видел «Марка» и три места встреч. Вик знал два почтовых ящика на Манхэттене и один в Бруклине, закладочные места в Форт-Трайон-парке и ещё в двух парках, пароль для вызова. Вик знал, что у «Марка» есть студия в Бруклине, где он держал оборудование, и знал, как туда войти, не привлекая внимания.

В конце Лавров провёл черту и написал: «Не знал». Под чертой оказалось меньше, чем он хотел. Вик не знал настоящего имени «Марка». Не знал, откуда у «Марка» источники в Вашингтоне и кто они. Не знал о «Гелиосе».

Последняя строка заставила его остановиться. Он смотрел на неё, и в голове складывалось что-то похожее на вывод, неприятный и не слишком логичный. Вик не знал о «Гелиосе». Но «Гелиос» мог знать о Вике.

Он зачеркнул. Потом написал снова.

В воскресенье Лидия испекла пирог с капустой, и на кухне стоял запах, который он всегда любил и в эти минуты почти не замечал. Наташа пришла от подруги с тетрадью, села за стол и принялась делать вид, что пишет, хотя читала что-то под тетрадью. Лавров не стал спрашивать. В четырнадцать лет у человека уже должно быть что-то, чего ему не объясняют.

— Ты опять не спал, — сказала Лидия.

— Спал.

— Три часа.

— Достаточно.

— Витя.

— Лида, у меня сложная неделя.

— У тебя сложный год. — Она вытерла руки о фартук. — Я не спрашиваю, что там у вас. Я спрашиваю, что ты будешь делать, когда это кончится.

— Что «это»?

— Не знаю. Всё, что у тебя. Ты же не бессмертный.

Он посмотрел на неё. Она стояла у плиты, невысокая, с седыми волосами, которые давно не красила, и с лицом учительницы, привыкшей к тому, что ей не отвечают сразу. Двадцать один год они были женаты. Он знал каждую её морщину и не знал, о чём она думает по ночам.

— Не знаю, — сказал он. — Вероятно, ничего. Выйду на пенсию, поеду на дачу.

— На какую дачу?

— На любую. Купим.

— На какие деньги?

— Лида.

— Ладно. — Она улыбнулась уголком губ. — Ешь пирог.

Наташа подняла голову.

— Папа, а можно спросить?

— Спрашивай.

— Ты когда-нибудь боялся?

Лидия замерла у плиты. Лавров отрезал кусок пирога и положил на тарелку.

— Чего?

— Не знаю. Вообще.

— Боялся, конечно.

— Чего больше всего?

Он подумал. Спрашивать такое у отца в четырнадцать лет можно, только если ответа не ждёшь, и поэтому ответить хотелось честно.

— Что человек, которого я считаю надёжным, окажется не тем.

— Это про работу?

— И про работу тоже.

— А про нас?

— Про вас я не боюсь. Я вас знаю.

— Все так говорят, — сказала Наташа и опустила глаза.

Он не нашёл, что ответить. Пирог остывал. Лидия поставила чайник, и на несколько минут в кухне слышалось только, как гудит газ.

В понедельник утром Вик не объявился. Не объявился и во вторник. Парижская резидентура, наблюдавшая за вокзалом и за гостиницей, сообщала одно и то же: никого. Во вторник вечером пришло уточнение, и Лавров прочёл его с таким чувством, словно ему подали вещь,

давно потерянную: накануне в Париже, в баре на улице Лафайета, видели человека, подходившего под описание Вика. Описание, впрочем, подходило к тысяче финнов и к трём тысячам русских. Человек был пьян, говорил по-английски, заплатил долларами.

— Долларами, — повторил Гордеев. — Сколько?

— Неизвестно.

— Мы дали ему на дорогу сто пятьдесят. Он их уже должен был потратить.

— Значит, у него есть другие.

— Откуда?

Лавров промолчал. Он вспомнил строку в деле: в конце пятьдесят шестого года «Вик» получил от «Марка» несколько тысяч долларов для передачи жене одного из арестованных американцев, и в его отчёте за январь это значилось как исполненное. «Марк» потом, в одном из писем, довольно осторожно, как всегда, написал, что подтверждения от адресата не получил. Тогда на это не обратили внимания.

— Вы думаете о тех деньгах, — сказал Гордеев.

— Да.

— Я тоже. — Он потёр переносицу. — Скверно. Если он украл, ему тем более нечего делать дома.

— Или он просто пьёт.

— Одно другому не мешает.

Решение о сигнале «Марку» он принял в среду. Не потому, что убедился, а потому, что пришла бумага от председателя с вопросом о состоянии дел по этой линии, и ответить, что три дня назад мы получили тревожные сведения и ничего не предприняли, было невозможно. Гордеев подписал текст радиограммы, и Лавров сам понёс её в шифровальный отдел.

Текст составлял он. Четыре дня он выбирал слова, и в конце концов получилось короткое, сухое сообщение, которое мог бы написать кто угодно. «Ввиду изменившихся обстоятельств, рекомендуем в ближайшее время закончить текущую работу, свернуть связи и приготовиться к выезду по запасному варианту. Подробности по обычному каналу. Привет семье». Последняя фраза была условной. Семьи у «Марка» в Америке не было, и американцы, если бы прочли, решили бы, что это просто вежливость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.